Дом

Артему Морозову

Ну, вот и ты построил дом
в краю, где пахнет земляникой,
где все на свете «лайки», «ники»
однажды ясным зимним днем
в проникновенной тишине
предстанут бредом несусветным,
в котором жизнь твоя извне
контентом утекает в Лету.

А здесь, в глуши — родной очаг,
и никуда не нужно мчаться,
и на любимых домочадцев
не наглядишься ты никак.
И этим воздухом сквозным,
и этим светом неизбывным
ты не надышишься всю зиму,
быть может, лучшую из зим.

Рассвет, колодец с журавлем,
и лыжный след, и снова двадцать.
Здесь можно заново рождаться
и вспоминать себя потом.
И пусть останется содом
сует — для профиля и блога.
Зато есть твой приют, твой дом —
для человека и для Бога.

В небо взмывают дворники, и у них
в метлах шевелятся тени, дымы, туманы.
Город же спит еще, город — музей живых
призраков прошлого, странный приют для странных

дворников, что улетают под утро вдаль,
прочь от земли, эскадрильей своей потешной.
Каждое дерево, ветви взметнув, опешив,
их провожает. И зверем в ночи февраль
в город врывается — свой учинить закон,
щедро пополнить синодики скорбным списком.
Спит человек и сквозь чуткий рассветный сон
бредит о чем-то дальнем, о чем-то близком.
Он остается в протяжной глухой зиме,
след на снегу его будет глубок и краток.
Это не страшно, таков уж вещей порядок
в городе, напрочь увязшем в сырой земле.
Что-то меняется — там, в средоточье зим,
в толщах камней, в самых темных глубинах скверов.
Что-то уходит, ушло безвозвратно с ним,
с временем нищих шутов и блаженной веры.
Кто они, эти летучие асы снов,
что за дворы теперь брошены с их отлетом,
что за дымы и туманы вплелись в их метлы?
Разве об этом расскажешь посредством слов.
Так и проснешься, и, кажется, до сих пор
всё как всегда, и пока еще время терпит.
И только выйдя в немой опустевший двор,
сразу почуешь, как в кости проникнет трепет.

Длится, длится зима, и опять безнадежно убитым
притворяется время, но все же с ним что-то не так.
Жизнь еще обернется каким-то несбыточным бытом.
Обернется еще. А пока нищета, нищета
несусветной тщеты. Но и та все уступчивей, робче,
словно чует подвох, словно знает — чужая она.
Только ветер в ударе, божественный чернорабочий —
роет ямы воздушные, шепчет врасплох имена
птицы, камня, пылинки… и что-то невнятное дальше,
что-то слишком далекое, слишком лукавое, но
притерпеться бы к счастью, которым давно обладаешь.
Остальное — тщета, остальное постичь не дано.
Вот и пробуешь жить чуть подробнее, пристальней, проще,
пьешь и с мартом братаешься, слушаешь благостный треп
шебутных воробьев, обнимаешься с ветром, на ощупь
приближаясь к развязке, и замертво рухнув в сугроб,
поднимаешься снова, не ведая срока и века.
Город, светом исколотый, сам на себя непохож.
Знать бы, что впереди? но по данным грачиной разведки
все решает мгновенье, которым теперь и живешь.

Все трещит сверчок досужий, свищут ветры-бунтари.
Осень это не снаружи, осень это изнутри.
Росчерк жизни, росчерк смерти — не шедевр, но намек,
и тебя сметает, метит ветер, сбивший время с ног.
Чем ты полон? Что осталось от твоей слепящей тьмы? —
лишь блаженная усталость да взыскание зимы.
Нет, для будущих скрижалей хлама всякого еще
предостаточно, пожалуй, только это все не в счет.
То война, то пир за пиром, но в любом раскладе карт
осень высится над миром, словно вечный зиккурат.
Кто ты, тянущийся в омут безрассудства с головой? —
информационный повод, и не более того.
Что судьба твоя, что слово, что молитва между строк? —
капля шума мирового, уходящего в песок.
Росчерк жизни, взмах, движенье. Жернова и жертвы их.
Из усталости блаженной происходит каждый штрих.
Только ты не дуй на свечи, предвкушая первый снег.
Потому и бесконечен, что мгновенен человек.

Медленно, медленно, медленно. Это про снег,
это про время, подобное сонной улитке.
Слушаешь сердце — бьется ль еще, болит ли?
За ночь становишься старше на целый век.
Здесь, в шапито поднебесном, кругом подвох,
торг и язычество — даром, что снова святки.
Мир-нищеброд оголтело поет колядки.
Лечит лишь то, что во всем есть незримый Бог.
Бережно, бережно, бережно. Это про свет,
что зарождается робко на краешке света.
Он проникает в сугробы, в еловые ветви,
в птиц и собак, все меняя в своем естестве.
Боже ты мой восходящий, а дальше что?
Тьма, как всегда, бьет в кимвалы и прет нахрапом,
сопровождая охоту вселенским хайпом.
Быть ли и впредь в шапито записным шутом?
Или не быть, если все же сберечь, сберечь
свет этот тихий, которым дышать и греться.
Ты узнаешь его, ты вспоминаешь детство
и понимаешь, что жизнь еще стоит свеч.

Норвежский ветер

Ладонью воздух зачерпнешь
и чуешь, как в горсти трепещет
от моря к морю перебежчик,
норвежский ветер. Чем-то схож

с безумцем он. Но стоят месс
его скитанья и мытарства.
Какое в тьме столетий царство
он ищет? То норвежский лес
он наполняет до краев
глубоких чащ древесным шумом,
то вдруг в смятении безумном
тревожит дремлющих богов,
грозит Валгалле, гневно шлет
проклятья Одину и Тору,
и бурей смертного раздора,
в себя вобравшей жар и лед,
презрев земное шапито,
в припадке ярости и гнева
небес качнувшееся древо
стремится вырвать с корнем до
пустот зияющих, до той,
покоем благостным чреватой,
незримой точки невозврата,
всосавшей космос ледяной.
И вот в твоей ладони он,
как зверь, поджавший хвост и уши.
Но, может, это ты в ловушке
и с ветром жить приговорен.
Что если это он проник
в тебя скитальчеством бессрочным,
норвежским лесом, морем, ночью,
мурашками за воротник?
Проник в лопатки, кровь и явь,
и в истеченье калиюги
он возвращается на круги,
на круги вечные своя.

Ветреное

Евгению Коновалову

Ты в сумерках вязнешь, но все же идешь туда,
где небо, почти обмелев, пропадет в человеке.
Становишься воздухом, запахом книг, аптеки,
настоек, что пьются по осени, как вода:
глоток, и не вспомнишь, чем принято жить, какой
слепой часовщик шестерню оголтело вертит?
Ты просто живешь и бредишь одной строкой,
всегда ускользающей, снова швырнув на ветер
связку невнятных, гортань пережегших слов,
и что тебе до незрячих часовщиков?
То бесом борей закружит, то рухнет ниц,
чужим притворившись, на плутни и прятки падким,
но ты узнаешь его снова по отпечаткам
носимых им веток, вселенных, песчинок, птиц.

Вы, кажется, накрепко связаны — ты и он —
какой-то одной по-младенчески глупой верой.
И ветер смеется, сдирая с шипящих крон
иссохшую кожу испуганных насмерть скверов.
И как же тебе нестерпимо легко и тесно
на зябком ветру в хламиде своей телесной.

Град обреченный

Заснеженный пейзаж глубок и чист —
зима дисциплинирует природу.
Ни звука. С колченогой каланчи,
превозмогая утреннюю одурь,
продрогший ворон, словно в тьму времен,
куда-то в небо целит цепким оком —
Лаокоон, застывший над потоком
событий, что во тьме почуял он?

И город, в струнку вытянувшись весь,
стоит — сосредоточенный и строгий,
как будто ждет решительную весть.
Он помнит все — мясистый запах оргий,
вкус ветреной свободы, зычный зов
слепого естества, имперский почерк
страстей, чудачеств, помыслов и прочих
своих безумств. Но чашами весов
играет необузданный борей,
и зябнут покачнувшиеся сферы
в пугающе пустынном декабре
оглохшего столетья стылой эры.

И помнит город все, что кралось вслед
неистово пирующей гордыне —
цветение удушливой полыни
и ужас пустоты, объявшей свет,
проникшей в камни цирков и церквей,
содравшей лак с их лика щегольского,
поправшей то, чем родствен иудей
был эллину — связующее слово.

Плывут воспоминанья, их не счесть,
но окликает колокол, зашедшись,
юродивых своих и сумасшедших,
и сумерки тесней, и ближе весть…

Ты тронешь лады, а в ладонях ни звука —
лишь воздух, откуда неведомым трюком
сцедили всю музыку: пчел, колоколен,
скрипучих качелей... И ты обездолен —

усталый, глухой созерцатель застывших
в реке отражений — не глубже, не выше.
Сюжеты изучены. Фабулы сжаты.
Растянуто время в летучие даты.
И в этом подобье застывшего мига
лишь чудо, пожалуй, завяжет интригу.
В купели востока восходит, взрастает,
светает, лучится. И выпорхнут стаи,
поэты, собачки, художники, дамы...
Вот вам пастораль с мошкарой, пилорамой,
с заброшенным прудом, со сплетнями, дремой.
Круг замкнут, и может ли быть по-другому?
И ты повторяешь урок, что был пройден,
и чувствуешь меру подвоха в природе.
Все в ней для тебя предрешилось как будто,
и тянутся в плясе безумном минуты.
Закат. Слышен благовест дальнего храма.
Весь мир необъятный вмещается в раму
с наброском графическим автопортрета,
в строфу о своем, о туманном, поэта,
во взгляды собак, заскуливших под вечер
о доле собачьей.
Гармония.
Вечность.

Ты тронешь лады, а в ладонях ни звука —
лишь воздух...

Закрываешь глаза, чтоб о чем-то с собой помолчать.
В глубине тишины, за румяною корочкой речи,
правды все солоней, все насущнее и безупречней,
их бессловный язык не нуждается ни в толмачах,
ни в пустых златоустах, бряцающих в душную медь.
Закрываешь глаза, чтобы там, за изнанкою зренья,
вспять глядящий зрачок различил очертанья сирени,
треволненье ветвей и безлицую девочку-смерть.

Неусыпная птица, что пряталась в детской руке,
пьет скудеющий свет, и с продрогших ветвей лепестками
осыпается небо, и булькает тьма под мостками,
а бычок все идет по качнувшейся шаткой доске.
Хрупко, ветрено, больно… и сколько еще небесам
осыпаться вослед выходящим из вечного боя?
И спохватишься жить, доверяясь молчащим с тобою
богу и муравью. Но никак не словам, не словам…